

Капитализм in the cité

Александр Бикбов



Болтански Л.,
Кьяпелло Э. *Новый
дух капитализма*. М.:
ИЛО, 2011. 976 с.

Эта амбициозная книга вырастает из вопроса: если социальный и экономический режим послевоенной Франции — один и тот же, чем объяснить столь разительные контрасты между бурными бо-ми и шаткими 90-ми? В поисках ответа авторы вооружаются веберовским понятием «духа капитализма», поначалу его скорректировав, а затем и вовсе противопоставив первоисточнику. Если у Вебера дух наживы выступает побочным продуктом религиозных мотивов и практик, то для авторов «Нового духа» это первичная система противодействия наживе любой ценой — ограничителей, воплощенных в требовании справедливости, гарантий занятости и т. д., — которые делают капитализм приемлемым и даже желанным видом общественного устройства. Ограничивая эгоистическое накопление капитала императивами заботы об общем благе, дух капитализма сообщает этому накоплению приемлемую форму, а также предоставляет основу для критики, которая не упраздняет капитализм, а напротив, делает его более устойчивым и оправданным.

К «минимальному» определению капитализма как безграничному накоплению капитала, т. е. чисто аналитическому конструкту, который магия направленной на него критики каким-то образом превращает в эмпирическое поле событий, можно выдвинуть сразу несколько серьезных претензий. Одна из них связана с узостью исходного допущения. Вебер и даже Марк не ограничивались одной аналитической формулой, к которой сводилось бы разнообразие отношений при капитализме. Оба с самого начала рассматривали капитализм как структурный горизонт, охватывающий не только самодвижение прибыли, но и становление социальных классов и классификаций. За рамками «минимального» определения,

капитализм для Болтански и Кьяпелло — это прежде всего модели высказывания и идеологически подкрепленная организация пред-приятий; иначе говоря, некоторые классификации и результаты их использования — что, строго говоря, имеет гораздо больше общего с фукольдианской схемой управления населением, чем с марксистской проблемой распределения прибыли. Но согласование этих двух схем остается за границами текста. Поэтому между историческим описанием того, что происходило во Франции в 1960–90-е, и исходными теоретическими допущениями остается порой незаметный, порой отчетливый зазор, которым авторы распоряжаются с переменным успехом.

Одним из самых габаритных объектов, которые буквально исчезают в этом зазоре, становится социальное государство. Именно в 1970–80-е происходит универсализация режимов социальной защиты, которая обеспечивает население прожиточным минимумом. В 1975 принимается единый для всего населения режим пенсий, в 1978 все проживающие на территории получают одинаковое право на семейные выплаты. Правда в том, что эти режимы все больше перемещают социальные права за границы мира труда, обеспечивая прожиточным минимумом, гарантиями образования и здравоохранения не только работающих, но также длительно не работающих и безработных. Иными словами, социальное государство, функционирующее в этот период, строится не на презумпции занятости (возврат к которой постепенно происходит сейчас, во Франции 2000-х), а на презумпции гражданства и даже фактического пребывания на территории. Авторы обо всем этом не упоминают ни словом. Хотя, возможно, не только ловкий уход капиталистического патрона от социаль-

ной критики, но и перенос наиболее обременительной части издержек социального неравенства с семей и индивидов на государственные институты приводит к умиротворению общественного протеста и демонтажу машин классово-борьбы?

На растущие социальные расходы государства авторы указывают скорее скептически, как на фактор снижения производительности предприятий (с. 435), и ограничиваются беглым, на 10 страниц, обзором экономических последствий этой политики. Результатом такого почти полного невнимания к государству становится тезис об ослаблении трудовых гарантий в 70–80-е. Он иллюстрирован данными о снижении членства в профсоюзах. Если допустить, что государство присвоило себе ряд функций, которые раньше выполняли профсоюзы, интрига теряет изрядную долю своего сурового шарма. Но поскольку государство — объект, мало интересный авторам, тем хуже для реальности.

В целом, одна из определяющих характеристик ситуации после 1945-го во всем мире — это формирование сложной системы регулирующих и классифицирующих инстанций, профессиональных, государственных и наднациональных (вплоть до ООН, НАТО или СЭВ), которые зачастую не связаны друг с другом напрямую и производят новые регламенты отношений во всех сферах, исходя не только из попыток ограничения наживы, но также из иных, в т. ч. более «архаичных» логик противодействия несправедливости, в частности, из логики предотвращения войн, содействия просвещения или равенства шансов. Функционируя в границах, но не в духе национальных версий капитализма, они также регулируют напряжения на границе двухполюсной системы 1970–80-х. Такая этатизация и бюрократическая рационализация, сопровождающие движение капиталистического «духа» и при том не замеченные авторами, ставят под сомнение целый ряд их гипотез. В их число попадают рассуждения о причинах спада социальной критики в целом и профсоюзной активности в частности: собственные ли это ошибки профсоюзов, послужившие основой для критики, или трудовая дискриминация профсоюзных активистов (обозначенная более сильным словом «репрессии») и т. д. Выбор опорных элементов, а вернее, невнимание к такому «незаметному» элементу и действующему фактору всех трансформаций, как бюрократия, национальная и наднациональная, весьма ощутимо колеблет убедительность всей объяснительной конструкции. Если она кажется укрепленной с фасадной, теоретической стороны (режимы оправдания, режимы критики, эволюция моделей управления), при взгляде под более острым, фактуальным углом она предстает ощутимо накренившейся.

Вопросов остается немало. И все же, главное в книге не это. Более, чем подозрительно про-

стой развязкой интриги между капитализмом и государством, книга интересна обобщениями и наблюдениями над тем стратегическим полем сил, в котором «делает эпоху» продуктивное напряжение между администрацией крупных компаний и общественными критиками, «освобожденными» менеджерами и «самотивировавшимися» работниками, стремлением к социальной справедливости и иллюзорными соблазнами «гибкого» труда. Это противостояние отнюдь не бессловесно, а слова что-то значат. Авторы убедительно показывают, как оправдание и критика — не просто слова — вписываются в баланс сил и выступают основными инструментами по его изменению. В конечном счете, это демонстрирует, что общее благо — не абстрактная идея, тихо дремлющая в коллективном воображении, а набор вполне конкретных, исторически заданных доказательств, или схем (в кантовском смысле), в которых речь снова обретает свою производящую силу. Наиболее яркое подтверждение такой взгляд находит даже не в номинальных режимах оправдания, или Градах, познавательный статус которых во всей этой истории не вполне очевиден, а в более практическом и историческом разграничении критики на социальную (схема общественной справедливости) и артистическую (схема индивидуальной свободы), а также в выделении двух способов ведения критики: легитимной коррекции несправедливых испытаний и силового смещения, или замены этих испытаний новыми, еще не признанными и не типологизированными. Это инструменты, вполне пригодные, чтобы тестировать их на реальности. Что авторы и делают, предлагая обширный и крайне информативный, хотя снова не во всем убедительный анализ поля критики и ответов на критику в сфере организации труда и общественных движений.

Всем, кто не уверен, что осилит пухлый том целиком, ПУШКИН рекомендует ознакомиться с кратким изложением, сделанным самими авторами. Оно опубликовано в журнале «Логос», № 1, 2011.

Здесь не обходится без уже знакомого сжатия самой модели критики/изменений. Из книги можно заключить, что любая критика предназначена быть услышанной. То есть все, что говорилось на протяжении 30 лет — какими бы ни были реципиенты, коммуникативные задачи говорящих и практические эффекты их речи — было зафиксировано, принято к сведению или отклонено в буквальном смысле. В этом смысле, оправдывающийся капитализм 1960–90-х делается даже красивее своего эмпирического, этатизированного прототипа, начиная явственно походить на древнегреческую агору. В самом деле, авторы оговаривают условия, которые делают критику действенной или позволяют ее игнорировать, на очень общем уровне: это весьма напоминает куновскую проверку парадигм нормальной науки (см. Заключение). Возможно, они поступают так из опасения завязнуть в логике подозрения, которую Люк Болтански резко отвергает. Так или иначе, успех критики либо объясняется *ad hoc*, либо (иные примеры и сделанные вскользь замечания заставляют это предположить) должен быть признан сугубо количественным показателем: чем больше критикуют, тем вероятнее изменения. Но последнее предположение опровергается другими примерами и собственной позицией авторов, которые, в свою очередь, критикуют критиков — наследников 68-го — за неверный выбор форм и объектов атаки. Ведь именно эти ошибавшиеся критики были наиболее активны и многочисленны. Значит, дело не в количестве. Отчего успех критики снова возвращается к логике *ad hoc*.

Почему так важен вопрос об условиях успеха критики? Потому что именно он, в конечном счете, объясняет динамику капитализма на принятых допущениях. Кроме того, в своей работе авторы представляют не только некоторые общие наблюдения за работой механизма критики, но и своего рода этическую программу. Они настойчиво указывают — порой даже заподозрив их в предвзятости и злорадстве, чем некоторые оппоненты не пренебрегают — что реализуемая всеми общественными движениями критика лишь подкармливает капитализм, продлевая его существование и давая ему новые легитимные основания¹. Отчасти с авторами можно согласиться. Изрядная, возможно большая доля общественных движений открыто берет на себя реформистские, а не революционные

задачи, т. е. готова работать над уменьшением несправедливости изнутри существующего режима, не добиваясь реализации радикальных утопий. Но первичны ли здесь ограниченность критиков и неудачный выбор аргументов, или дело прежде всего в тех условиях общежития, которые определяют социальное положение большинства в 1970–90-х *прежде* слов и дискуссий? Возможно, одно из объяснений кроется в уже упомянутом универсализме «не замеченного» авторами социального государства. Именно он делал приемлемым компромисс с капитализмом, избавленным от наиболее острых несправедливостей. По мере сокращения социальной поддержки из общественных средств и смены моделей перераспределения социальные различия поляризуются, а борьба и критика принимает все более острую форму. Это хорошо видно уже по прошедшему с момента публикации книги десятилетию. Продолжаясь, по всем признакам, инволюция социального государства рождает во всем мире формы социальных неравенств, все более приближающие к «образцовому» XIX веку. С его пространственной сегрегацией и наказанием за бедность (см. исследования Лоика Вакана), травливанием незастрахованных работников во все более жесткую конкуренцию между собой (см. работы Кристиана Лавала²) и возвратом дискриминационных риторик крепкого морального порядка и истин большинства (включите телевизор или оглянитесь вокруг). С ужесточением неравенств радикализуются и формы критики. На наших глазах концепция «неолиберализма», которая долгое время оставалась мишенью для академических аристократов, вышедших за стены Академии (Хомский, Стиглиц, Бурдьё), превращается в общую негативную цель, точку сборки для самой широкой коалиции.

Возвращаясь к общей объяснительной модели, хочется обратить внимание на способ соединения двух других схем, легших в ее основу. Вся конструкция — новация, характерная для так называемой «прагматической» социологии во Франции. Если совсем кратко, ее характеристики таковы. С одной стороны, можно наблюдать объективные — в той мере, в какой их можно зафиксировать и измерить — сдвиги в способах организации труда и, более широко, социальных взаимодействий, которые мотивируют индивида к исполнению работы. Между 1960-ми и 1990-ми логика внешнего иерархического принуждения на постоянном рабочем месте сменяется гибким самопринуждением и самоконтролем работника или менеджера, который трудится в сетевых проектах сегодня, чтобы снова быть нанятым в подобные проекты завтра. Это изменение не тотально, авторы скорее связывают его скорее с чувствительностью управленческого «авангарда», однако именно оно выводит на авансцену новый дух капитализма.

На деле, большим подспорьем в понимании этого сдвига могут послужить курсы Фуко в Коллеж де Франс, посвященные управлению населением², а также работы по социологии труда и организаций, изучающие смену управленческих моделей³. Чтобы подкрепить свои интуиции, сами авторы препарируют целый корпус литературы для менеджеров, изданной во Франции в шестидесятых и в девяностых.

Вторая схема, использованная в анализе тех же данных — теория оправдания, или Градов (*cités*), ранее предложенная Болтански и Лораном Тевено³. Грады представляют собой устойчивые «кантовские» схемы, которые не только позволяют индивиду категоризовать разнообразие чувственного мира, но и — что принципиально — участвовать в совместных с другими индивидами действиях, исходя из общего для них блага. Тезис о том, что предательства об общем благе всегда регулируют индивидуальный выбор, авторы открыто заимствуют у Альберта Хиршмана (с. 44, 105). Но в снятом виде здесь присутствует и работа с моделью габитуса Пьера Бурдьё, перенесенная из сферы полу-осознанных стратегий в дискурсивное и аргументативное измерение. Типологизируя эти схемы, авторы выделяют семь Градов, включая рыночный, промышленный, домашний, проектный и т. д. Тем самым, в противоположность Канту, схематизм оправдания выступает не свойством индивидуального рассудка, а своего рода коллективным достоянием, которое и соответствует «духу» капитализма. Коллективный статус субъекта Градов авторы нигде не подтверждают, открыто отсылая лишь к индивидуальному опыту. Однако здесь гораздо больше общего с историческим субъектом неокантианцев (в частности, поздним Кассирером), нежели с действующим индивидом прагматической философии. Среди прочего, на это указывает и прямая увязка Градов с историческими феноменами периодов большой длительности: промышленностью, рынком и т. д.

Каждая из этих двух схем не слишком стара, но и не вполне оригинальна. Интересна попытка скрепить их между собой, обратившись к уже вполне марксистскому или прагматистскому, а может быть даже куновскому, тесту на реальность. Болтански с Тевено так его и называют — «испытание». Это политические переговоры, школьные экзамены, рабочие совещания, семейные ссоры, научные дискуссии, — все то, что сталкивает общие схемы Градов с реальностью, сообщая им достоверность и наполняя содержанием. Действенность критики обязана этому моменту столкновения, хотя, стбит еще раз отметить, что авторы не сводят в общую картину те конкретные условия, при которых критика или испытания в 1960-х и 90-х приводят к изменениям или, наоборот, к сохранению привычного порядка. Новый «дух капитализма», как

и старый дух, а также, вероятно, и иные предшествующие «дүхи», уже не обязанные жажде наживы, проявляются в ходе испытаний при наложении этих двух схем, условно фукольдианской и неокантианской. Строго говоря, первая из них, имеющая отношение к изменениям в организации труда, вносит более интересный и продуктивный вклад в общую объяснительную модель. Она не просто позволяет констатировать некоторые объективные процессы как внешнее индивидом социальное принуждение. Она также позволяет описывать формирование структур субъективности по мере изменения структур труда и найма. Вторая схема более амбициозна, поскольку претендует уже на некоторый уровень внеисторического обобщения. Но критерии выделения Градов, их статус (производящий или произведенный?) и структуры закрепления в надындивидуальной реальности (только ли это анализируемые авторами тексты?) остаются во многом на уровне теоретического эскиза.

В итоге получается вызывающая и стимулирующая книга. В отличие от привычной научной работы, которая обычно нацелена на как можно более эксплицитное и однозначное представление объекта и собственных методологических посылок, книга становится результатом слияния интерпретативных схем, правила которого не прописаны явным образом. При всей детальности в проработке некоторых измерений, отказ авторов от открытого теста на совместимость и неоговоренное исключение кардинальных элементов изучаемого процесса (государства, отдельных типов общественных движений и т. д.) можно характеризовать как поражение в научной логике. Но можно рассматривать этот отказ и в логике художественной провокации. Оставляя открытым вопрос о том, как и сколь продуктивно их послылки вписываются в легитимные оппозиции социальной теории, авторы интригуют сторонников и вызывают критику оппонентов. Иначе говоря, действуют в том же духе, который избрали предметом своего рассмотрения. ■

¹ Надо признать, что авторы выбирают из всего спектра общественных движений и форм чувствительности наиболее им подходящие. Так, в книге вовсе отсутствует экологическое движение, речь идет только о культуре потребления био-продуктов; в рамках движений против колониализма рассматриваются в основном те, что руководствуются благотворительной логикой; коммуно-либертарное движение (как основополагающий опыт артистической критики) не упоминается вовсе и т. д.

² Одна из книг Лавала, «Человек экономический», издана по-русски в 2010 году (см. рецензии в этом номере).

¹ В частности, «Безопасность, территория, население» (1977/78, издан во Франции в 2004).

² Среди прочего, такие работы показывают, что элементы новой логики формируются уже в 1920-х, в оппозиции тейлоровской доктрины со стороны доктрины «человеческих отношений» Элтона Майо, чью роль в формировании управленческих моделей авторы не рассматривают вовсе.

³ BOLTANSKI L., THÉVENOT L. *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris: Gallimard, 1991.